

Писатель Валерий Попов:

«Мы разучились быть счастливыми»



В катастрофичности нашего быта, в тревогах нашего времени Валерий Попов умудряется по-прежнему осчастливливать читателя радостными произведениями с оптимистичными названиями: «Нормальный ход», «Крутые дела», «Успеваем!», «Парадиз», «Жизнь удалась». Есть писатели, с которыми хочется выпить чаю, пусть даже и без сахара. Наш корреспондент беседует с писателем В. Г. ПОПОВЫМ.

— Здравствуйте, Валерий Георгиевич. Как вообще-то жизнь?

— Ну... Вообще-то неплохо, потому что удается еще испытывать наслаждение за письменным столом.

— А Пастернак говорил: «Слава богу, писать еще трудно».

— Это правильно, это чтобы не было инерции. Но по идее должно быть счастье. И писать, и вообще жить надо только для собственного наслаждения. И делать то, что хочется, и не насиловать себя напрасно. Есть, знаете, такая категория страдальцев: им нравится страдать, они любят свою несчастье, им она представляется заслугой. Я люблю вспоминать один эпизод, такой обрамляющий, из моей повести «Жизнь удалась». Там герой проваливается под воду, и все уже уверены, что конец: зима, вода ледяная, его нет всю ночь... А он выплывает оттуда наутро веселый, счастливый и с рыбой под мышкой. Оказывается, воду выкачали из-под льда и он просто так по дну погулял и вылез.

— Но это же гротеск! Так не бывает!

— А в жизни очень часто нет иного выхода. Гротеск — это средство преодоления раздражения, ненависти, отчаяния. Можно обыграть все, надо только изменить угол зрения. Мы уверены, что надо обязательно тонуть, провалившись под воду. А можно не тонуть. Это и есть гротеск. Или вешаться, или гротеск.

Вот, например, однажды к нам пришли мастера якобы чинить дверь. Сняли дверь и ушли. На неделю. Живем без двери. Я тогда написал «Вход свободный» — как в квартиру стали все заходить, начиная с водолаза и кончая марсианином, и потом караван верблюдов. Как жена сначала ушла, захватив с собой утюг, а потом вернулась, стала демонстративно жарить блины, а я в полном уже восторге стал их демонстративно есть. В основе каждого рассказа обязательно лежит такое зерно преодоленного кошмарчика.

— Вы очень классно выдумываете кошмарные, абсурдные детали; помните, как в той же «Жизни» герой перед операцией в больнице лежит, и входит огромная медсестра, басом кричит: «Идите брейте живот!»

— Кстати, живот я действительно брил. Это все не выдумки. Жизнь довольно щедро предоставляет материал для прозы, только надо уметь не воспринимать его мрачно. Трагические люди меня угнетают, хорошо и светло может быть только рядом со счастливым человеком. Живя для себя, живешь для других, такой парадокс. Я какую-то неловкость, чуть не вину чувствую перед такими мрачными, обиженными субъектами; ко мне однажды приходит мрачный человек в доме творчества и говорит трагическим голосом: «У меня к вам очень неприятное известие». Я, дрожа, говорю: «Что такое?» А он: «Я напечатал ваш рассказ». Я говорю: «Так это же отлично!» А он: «Я его под своей фамилией напечатал». И так это сказал, что я почему-то кинулся его

утешать, повел в столовую, хотя по идее должно бы все идти совсем наоборот! Я себя чувствовал таким виноватым... Мы разучились быть счастливыми. Может быть, еще потому, что в качестве стереотипного положительного героя нам долго навязывался такой... борец. Он приходит на новое место и сразу кричит: у вас все не так! Тяжесть, мрачность от него исходит, он всегда что-то преодолевает... тогда как в борьбе счастья нет. Я был сравнительно недавно в Прибалтике, и там меня спрашивали: вы за Народный фронт или нет... и вообще за кого? А я говорил: я — за счастье. Позиция «быть за кого-то» к счастью не ведет.

Почему, вы думаете, наши официанты, портье, швейцары так любят иностранцев? Чаевые, что ли, бешеные? Ничего подобного, наши гораздо больше дают, и толку все равно чуть. Просто от иностранцев исходит какая-то уверенность, что все будет хорошо, легкость некая. А наши приходят — абсолютно за собой не следящие, тяжелые, мрачные... Борцы! В памятных костюмах, вообще... И еще: у нас бытует такое распространенное убеждение, что вот как случилось с тобой какое-то одно несчастье, так все, теперь цепочка, можно уже не сопротивляться. Например, поспорил с любимой девушкой, с горя пошел на кухню, ударился больно о косяк, шарахнулся, порвал пиджак... и тем внес в свою жизнь полную разруху! Должен действовать принцип локализации несчастья. Если у тебя где-то прохудилась защита, не надо, чтобы весь картонный домик из-за одной карты падал! Мы и говорим как-то всегда на крике; я дочке своей всегда внушал: так разговаривать, как вы, — это же вообще ничего хорошего не скажешь! Чуть ли не на пределе голоса, на срыве, на раздражении. Мы как бы нарочно стараемся наткнуться на прутья клетки, в то время как можно спокойно проходить между прутьями!

— Но, Валерий Георгиевич, у вас получается так, что для счастья не нужно никаких, что ли, общественных перемен, все можно сделать и самому!

— А вы полагаете, что вас можно сделать счастливыми, так сказать, в государственных масштабах? Путем вмешательства властей? Вот есть люди, они говорят, что обком душит. Да разве обком может дать тебе веселых друзей? Прекрасную возлюбленную? Счастье за рабочим столом?! Счастливое общество состоит из счастливых людей. Да, у нас быт — пытка, да, у нас колбасы нет. Но возможно счастье и без колбасы, если человек почувствует себя свободным.

Пока, на мой взгляд, он этого не почувствовал. Состояние общества мне сейчас представляется довольно неважным. Просто плохим. Еще в апреле восьмидесяти пятого я зашел к одному знакомому редактору, тот сидел над газетой в восторге, обнял меня, сказал: «Вот... мы дожи-

ли!» Не знаю как-то — я тогда экстаза не почувствовал и сейчас его еще не чувствую. У нас осталось много прежнего, почти все, и в особенности пионерское такое стремление вставать, дружно аплодировать. Как только можно слиться в экстазе — так немедленно сливаемся, хлопаем, сгоняем с трибуны... Съезд народных депутатов меня в этом смысле не обрадовал. И что роскошно — так это изобретательность правых сил. Они чувствуют, что ставка на аппаратчиков уже бесполезна, и тогда делаются внезапные, четкие ходы, афганская война объявляется святой, академика Сахарова чуть не проклинали женщины... Эти люди очень тонки и изобретательны.

— А для вас лично изменилось что-то?

— Ну да... мне стало гораздо труднее. То есть если раньше я писал и это воспринималось как свое, как чуть ли не оппозиционное, и печаталось трудно, мало, то теперь, выходит, это совпадает с тем, что надо, и приходится опять выдумывать что-то свое. Надо просто оставаться собой. Сейчас это еще труднее, в эпоху застоя было гораздо легче. Легче, потому что это не поощрялось.

— Вещей откровенно социальных у вас практически нет.

— В общем, да. Кто сейчас помнит, кто такие гильфы и гибеллины? Кто помнит политические темные намеки и мотивы «Божественной комедии»? Специалисты. А Данте читают все, и практически всех это потрясает. Остается мрамор. Бродский отлично как-то сказал: «Поэта преследуют не за свободу политическую, а за свободу лингвистическую». Это высшая форма свободы — свобода за письменным столом, внутренняя. Я — за нее.

В творчестве нет ничего страшнее несвободы; я помню, одним из первых толчков для меня было то, что вот я читал, читал... и все думал: ну что они пишут, я тоже так могу! И еще я могу так, как могу только я, — это мне было интересно попробовать, и я попробовал и, как видите, пробую до сих пор. И еще одно: самый такой неотвязный страх — это страх самоповтора. С одной стороны, вроде и не грозит, потому что жизнь бесконечно богата и разнообразна и не подгоняется ни под какие

законы. В этом спасение и от полного пессимизма, и от полного оптимизма. А с другой — появляется определенный круг читателей, в основном людей своей группы крови, и начинаешь работать только на них, по инерции нарабатанности. А мне интересно, чтобы форма меня не пускала: она так должна пружинить. Я хочу так-то, а она не пускает. А я все равно хочу. Должна быть пружина. А когда можно все, уже нельзя ничего.

— И последнее. Вы живете и пишете в Ленинграде. Это как-то влияет?

— Я думаю, очень сильно. Я вот был недавно в Москве — московские и иные литераторы с каким-то мазохистским наслаждением, очень нашим, кричат о том, как все плохо. С клокотанием. Какая-то дикая мрачность, полное отчаяние, и вроде они ужасаются, это крича, и вместе с тем наслаждаются. И чувство, что у некоторых рухнули все опоры. А у ленинградца эти опоры постоянны — красота, например. Это уже помогает, когда выходишь, допустим, на Дворцовую. Такие опоры души, не позволяющие впасть в полное отчаяние.

«...Тут чайник вскипел — летал по кухне, ударяясь о стены, долго ловили мы его... Стали есть салат, бешено изрубленную селедку... Закурил я папиросу «Удушливую» и почувствовал счастье».

Жизнь удалась, елы-палы! Она единственная, поэтому она удалась. Глупо ее не полюбить, свою единственную. Нормальный ход. Успеваем! Все будет. «И как наша земля имеет атмосферу, в которой изменяются, разрушаются, сгорают летящие в нее метеориты, — так и человек должен иметь атмосферу духовную, где изменяются, разрушаются, сгорают летящие в него несчастья».

Это из рассказа Попова, которому я в этом материале пытался подражать. Хотя представления о манере Попова это все равно по-настоящему не дает. Решил подбросить хоть цитат немножко, чтобы читатель тоже почувствовал счастье.

А рассказ называется «Ювобль» — он про любовь.

Беседовал
Дмитрий Быков.



Рисунок МИХАИЛА ЗЛАТКОВСКОГО.